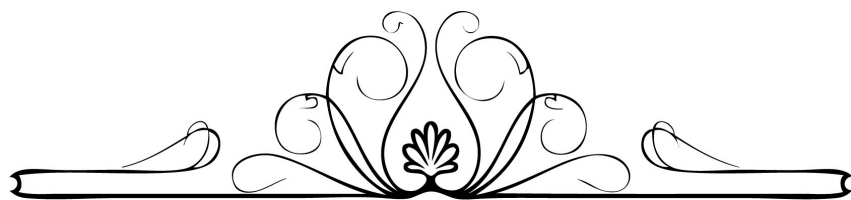


Ромэн Назиров

# После выставки

рассказ

13—14 июня 1956 года



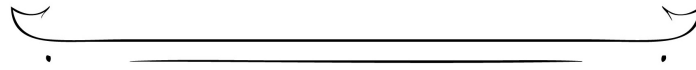
В одном из залов изящного особняка художественного музея до поздней ночи горел свет. Здесь было тесно от художников. Все они были разного возраста, но преобладала, главным образом, молодёжь. Кончалось обсуждение весенней выставки 1956 г. На стенах висели картины, и к ним выступающие нередко обращались для подтверждения своих тезисов.

Силы спорящих были явно неравны. Сначала молодая стройная женщина, искусствовед музея, сделала доклад, в котором подчеркнула, что своим успехом весенняя выставка обязана большой группе талантливой молодёжи. Затем старики предприняли контратаку: плотный, чёрный с проседью Исаев, отчаянно жестикулируя, крикливо шельмовал Панова и Туликова, обвиняя их в импрессионизме и прочих смертных грехах. Выступили ещё двое стариков, но вслед за тем сторонники «пленера в творческих вопросах» взяли слово и дружно напали на стариков. Пейзажи Панова, бесспорно, были самыми интересными на выставке, так сказать, гвоздём экспозиции. Очень яркие и своеобразны были работы Сабашникова, особенно его «Вечернее солнце» с поразительными эффектами солнца и тени на речной поверхности. Вообще, весенняя выставка почти целиком состояла из пейзажей. Все признавали, что не хватает тематической картины, и художники пытались оправдаться друг перед другом, говоря, что пейзажи публика покупает, а работа над тематической картиной — напрасная трата времени и средств.

Но дело было не в этом или не только в этом. Это было ясно всем, но никто не говорил о главном.

На выставке были экспонированы три-четыре тематических картины. Одна из них изображала ржаное поле (жёлтое), жаркое летнее небо (голубое) и во ржи группу человеческих фигур (синих, красных, зелёных). Это было не то «Счастливое детство», не то «День нашей родины», запомнить было трудно, почти невозможно, настолько бессодержательна, пуста и бестемна была эта квазитематическая картина. Это произведение, сделанное Исаевым, кое-кто из молодёжи непочтительно называл «мазнёй». Исаев, которого за эту работу раскритиковала докладчица, лез в драку со всем пылом уязвлённого самолюбия: как-никак он был одним из ветеранов живописи в нашей республике. В своей сумбурной и желчной речи он пускался в воспоминания о личной близости к покойному Кирибееву, сильнейшему из довоенного поколения местных живописцев. Исаев не защищал свою картину, он был не так глуп, но зато он ожесточённо нападал на всех, кого хвалили в докладе. Он призывал следовать русской классической традиции. Потрясал руками, словно заклиная великие тени Репина, Сурикова, Крамского, Левитана, он бичевал формализм, в болото которого, по его мнению, катятся и Туликов, и Сабашников, и, конечно, Панов со своими «голубыми снегами» и многие другие из молодых.

Но мы отвлеклись несколько от нашего рассказа. Вторая тематическая картина называлась «Новые предложения». В ней, как говорили на выставке, заключалась целая трагедия. Уважаемый всеми честный и трудолюбивый художник, написавший эту картину, провёл несколько месяцев на нефтяных промыслах, изучая специфику производства. На большом, вытянутом в высоту полотне, он изобразил трёх людей у нефтяной вышки на фоне голубого неба. Люди стоят, держа в руках бумагу. Один из них забирается сзади рукой под свою кепку. Это всё. Ни движения, ни выразительности в позах. Гладкая школьная живопись, холод, пустота. С этой картиной художник



явно «разбился». Но все говорили об этом, смягчая выражения, потому что он много работал над картиной, в отличие от Исаева, и не спекулировал своими прошлыми заслугами.

Как бы то ни было, факт оставался фактом: тематические картины на выставке были далеки от жизни, лишены какого бы то ни было непосредственного чувства, декларативны, бедны живой мыслью, образами, и, вероятно, поэтому никто не находил в них никакой художественной ценности.

Общий дух дискуссии был не слишком официальный, но художники выступали мало, за них говорили висевшие на стенах картины. Всё было слишком ясно, всё было само собой понятно. Во время выступлений молодых Исаев сидел, нервно барабанил пальцами по расставленным коленям. За окном царил ночная тишина, нарушаемая только шелестом листьев. Стало свежо.

— Надо бы окна закрыть, — предложил Исаев.

— Ничего, свежий воздух полезен для здоровья, — откликнулся крепкий, насмешливый голос Ковалёва.

Ковалёв, один вожак молодёжи, был высокий молодой парень с русыми волосами, с лицом приятным и несколько застенчивым. Про таких женщины говорят: «Очень интересный». На прошлой выставке он имел большой успех со своей картиной из истории края. Эта картина была уже репродуцирована на почтовых открытках. На весенней выставке он выставлял только портрет жены, в основном законченный, который высоко оценивали и друзья и враги. Конечно, последние делали оговорки, критические замечания, но было ясно, что их устами говорит жёлтая зависть к этому здоровому полнокровному таланту. Кстати, жена Ковалёва сидела рядом с ним.

В общем, всё было ясно: выставка хорошая, такой давно уже не было в городе, молодёжь дала целый ряд очень интересных пейзажей и портретов, тематическая картина, жанровая, историческая живопись представлены из рук вон слабо. Тематическая картина нужна, это понимали все, но не такая, как у Исаева или «Новые предложения». Искания Панова, может быть, несколько спорны, но во всяком случае очень интересны и могут принести большие плоды, если он сумеет найти правильный синтез, ту золотую пропорцию искусства, за которой начинается спад. Следовало только приветствовать творческое многообразие выставки.

После короткой и бурной перепалки между искусствоведем Сениной, назвавшей выступление Исаева хулиганским, и оскорблённым Исаевым слово взял председатель, человек в очень хорошем сером костюме, один из руководителей союза художников. Он говорил красиво и гладко, позволяя себе тонкую шутку и предательски называя некоторых художников по имени — отчеству. Этот оратор умел говорить, не обижая никого. И сидевший возле Ковалёва остряк Паншин пробормотал тоном газетного репортёра: «Вечер закончился демонстрацией токарного искусства. Под бурные аплодисменты собравшихся тов. Зарецкий показал высокий класс в обтачивании острых углов».

На Паншина зашикали, и он замолчал. Зарецкий непринуждённо и округло заключил свою речь уместной цитатой из письма Крамского, сел и провёл платком по совершенно сухому и чистому лбу. Никто не обратил особого внимания, когда в президиуме поднялся средних лет мужчина с двумя авторучками в нагрудном кармане и с двумя аскетическими морщинами вдоль щёк. У него были редкие волосы, жёсткий металлический голос и чересчур хорошие, ослепительные зубы: вероятно, искусственные.

— Кто это говорит? — спросил Ковалёв.

— Это работник министерства, — шепнул Паншин. Тогда вспомнили, что за пятнадцать минут до обсуждения приехал автомобиль цвета кофе с молоком, и Зарецкий водил этого молчаливого гостя по залам выставки, бегло объясняя ему значение и содержание картин, достоинства и недостатки художников.

Теперь этот аскет из министерства, мученик канцелярского стола, взял на себя неблагодарную задачу — подвести итоги обсуждения.

Он не умел говорить и очень мало разбирался в живописи. По его речи было заметно, что перегруженность работой мешает ему читать что-нибудь, кроме газет и резолюций. Товарищ из министерства сам чувствовал, что говорит плохо, его самолюбие страдало от этого, он нервничал, и это усугубляло недостатки его выступления. Скептические улыбки в задних рядах вывели его из равновесия: он больше привык иметь дело с канцелярскими служащими, чем с художниками. Поэтому тон его становился всё более резким и нетерпимым, он уже отбросил обычные ораторские обороты, всё равно они ему не давались, и прямо обрушился на «художников-формалистов», к которым он причислял Панова, Туликова, Сабашникова, а заодно и Ковалёва, что было уже совсем нелепо. Лица слушателей выразили недоумение, но товарищ из министерства уже не мог остановиться.

— Мы никому не позволим... — выкрикнул он, внезапно повышая голос.

Это «не позволим» было само по себе красноречиво, но оратор, исходя уже из чисто стилистических соображений, сопровождал этот крик своей души сбивчивыми и непонятными объяснениями, чего именно он не позволит.

Было совершенно понятно, что он «не позволит» молодым советским художникам самостоятельно искать новых творческих путей, что он не доверяет им, молодым, осуществления партийного указания о поднятии советского искусства на новую, высшую ступень. Была бы его воля, этого холодного чинуши с пуговичными глазами, он бы всё оставил по-старому и специальным циркуляром предписал бы художникам «не дерзать» и «не вторгаться». Но партия и народ были недовольны своей живописью, они ждали от художников нового слова, и подобные чиновники на местах пребывали в раздражённом и растерянном состоянии.

Такие мысли проходили в мозгу Ковалёва, когда он слушал эту речь. Работник министерства сел, вынул пачку папирос, но спохватился и спрятал её снова. Ковалёв, делавший пометки в блокноте, сказал:

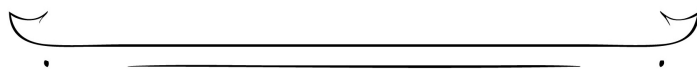
— Сейчас я ему отвечу! — и приподнялся. Но с обеих сторон его взяли за плечи, усадили, и голос Паншина зашипел ему в ухо:

— Что ты, мальчик, с трамвая упал? Охота тебе ссориться с начальством. Пусть говорят своё, поживём — увидим, кто прав, кто виноват.

Ковалёв покраснел от гнева, но момент был упущен. Зарецкий бодрим голосом, словно ничего и не произошло, объявил собрание закрытым. Художники толпой повалили из зала. Застучали стулья, послышались громкие голоса, и в полутёмном коридоре несколько минут стояло сплошное чирканье спичек. Закурив, переключались на широком дворе, отыскивали попутчиков, смотрели на часы и бранились, что из-за нарушений регламента обсуждение затянулось, трамваи и троллейбусы не ходят.

Пропел автомобильный сигнал, и машина цвета кофе с молоком плавно покатила к воротам, увозя руководящего товарища. Зарецкий, подняв боковое стекло, обаятельно прощался с художниками. Товарищ из министерства не показывался, он сидел в углу на заднем сиденье.

Ковалёв, Панов, Паншин и Сабашников шли вместе, с ними были жёны Ковалёва и Сабашникова. На пустынной улице гулко отдавался каждый шаг. Паншин артистически имитировал манеру речи Исаева, Зарецкого и руководящего товарища, но смеялись только женщины. Сабашников сдержанно улыбался. Ковалёв и Панов были взволнованы. Панов курил папиросу за папиросой.



— Нет, Лина правильно сказала, что это хулиганство, — сказал Ковалёв, имея в виду выступление Исаева. — Ни у Туликова, ни у тебя никогда не было этой самой какофонии, барабана, как он сравнивает.

Исаев в своей речи сравнил живопись Туликова и Панова с джазовой музыкой.

— Да, это явная передержка, — немногословно отозвался Панов.

— Но что меня особенно возмущает, — вмешался Сабашников, — так это их крики об импрессионизме. Чуть только человек пытается работать немного декоративнее, сразу раздаётся крик: «Панов импрессионист!», «Панов подражает Монэ!»

— Нет, друзья, всё-таки это глупо, — грустно подтвердил Ковалёв. — До сих пор нас не перестают пугать чёрным зверем — импрессионизмом. Конечно, в целом мы отрицаем импрессионизм, искусство без картины, этюды, артистические фокусы с разложением света. Не в этом дело. У импрессионистов мы тоже можем поучиться. Свет, воздух в живописи — это их завоевание. Валентин Серов, Игорь Грабарь сложились не без влияния импрессионизма. Нужно брать своё добро там, где его находишь. Нельзя говорить, что импрессионизм не дал ничего ценного.

— Вот-вот, Володя, теперь можешь говорить, отводи душу, ругайся, — весело заговорил Паншин. — А в присутствии начальства знай помалкивай в тряпочку. Скажи ты этому из министерства, что у импрессионистов тоже можно кой-чему поучиться, так он объявит тебя врагом советской власти. Есть же ещё такие мастодонты!

— Право слово, — заметил Сабашников, — когда он закричал: «Мы не позволим!» — мне представилось, что я снова сижу в пятьдесят втором году и своего мнения иметь мне не полагается.

— А как вам нравится это «мы»? — сказала Таня Ковалёва. — От имени кого он говорит? Можно подумать, что он своей персоной представляет партию и правительство.

— Тупой чиновник, не удосужившийся даже прочитать как следует решения XX съезда. Пока ему сверху не спустят новую установку, он будет придерживаться эстетических принципов по циркулярному письму за таким-то номером.

— Нет, это пора ломать! — вдруг сказал Панов и выплюнул окурочек.

— Так уж сразу и ломать! — улыбнулся Паншин.

— Надо написать в «Правду».

— Обязательно в «Правду»? — сыронизировал Паншин.

— Можно в «Советскую культуру», — задумчиво ответил Ковалёв. — Написать надо.

— Чудаки, вы это всерьёз? — заволовался Паншин. — Зачем это нужно — писать, кричать, поднимать шум? Через годик-другой всё окончательно прояснится, из центра спустят новую установку, выберем тебя вместо Зарецкого, и будет полный порядок.

— Брось ты паясничать, — сказал Сабашников, — тут не до смеха.

— Всё равно, кому-то нужно начинать, кто-то должен первым поднять шум. Хорошо бы развернуть в большой печати дискуссию о живописи.

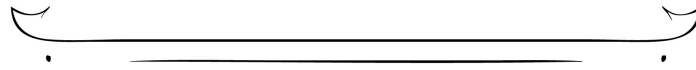
— Изобразительном искусстве вообще.

— Можно и вообще.

Паншин пожал плечами.

— С ума вы посходили все. Как будто вчера родились, жизни не знаете. Такие дискуссии не выдумываются малыми людьми, это уж без нас решат.

— Без нас? — повторил Ковалёв. — В конечном итоге коммунизм строят «малые люди», как ты говоришь. Без нас уже ничего не будет. Ты читал, что говорилось на съезде партии о народной инициативе? То-то же, «без нас».



— Да я ведь не возражаю по сути дела, — кисло ответил Паншин, только надо это делать поосторожнее.

— А тебя никто не заставляет «сей минут» подписываться.

— Да я подпишусь, если все, — пробормотал Паншин.

Настала томительная пауза. Подошли к дому Ковалёвых.

— Давайте зайдём, — предложил Ковалёв. — Посидим в саду, поговорим. У меня есть литра два пива, можно чайку попить.

— Спать охота, — зевнул Паншин. — Я, пожалуй, пойду.

У Ковалёва в садовой беседке сидели втроём. Панов рассказывал о своей встрече кое с кем из московских художников. Говорили, что в живописи как будто повеяло свежим ветром.

— Ничего мы не напишем, ребята, — трезво сказал Ковалёв. — Ни в «Правду», ни в «Советскую культуру». Нет у нас ни умения, ни привычки к чернилам. Но мы ответим по-другому.

— Работой.

— Только работой. Я, кажется, примусь за картину. И как раз за такую, как «Новые предложения».

— Только не за такую! — взмолился Сабашников.

— Нет, конечно, не буквально, но на подобную же тему. Это нужно делать, но делать совсем не так. Если хотите, эти идеальные производственные картины, без дыма, без грязи, на голубом фоне, так это и есть клевета на советскую действительность.

— Парадокс.

— Никакого парадокса. Эти картины говорят, что у нас нет никаких недостатков, никаких противоречий: они выхолащивают суть нашей жизни. Наша жизнь — борьба противоположностей, недостатков у нас много. Не показывать их — значит закрывать глаза на правду. Парадные славословия никому не нужны. Нужно писать жизнь грубую, реальную, с успехами и с неполадками, но на первое место ставить человека, который не пьянеет от успеха и не впадает в отчаяние от неполадков. А такие гладкие, парадные картины — это и есть обман, клевета на советскую действительность, всё равно что теория бесконфликтности в литературе.

— И не ждать, пока чужой дядя первый скажет за тебя нужное слово.

— Никто за нас ничего не скажет. Мы сами должны говорить за себя. Партия нас поддержит.

— А таких, как Зарецкий, нужно гнать поганой метлой из союза и не подпускать их к искусству.

— Паншин тоже сидит на двух стульях.

— Паншин просто трус. Важно, чтобы в министерстве сидели люди, которые хоть немного разбираются в деле.

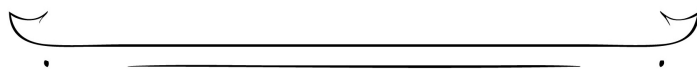
Сабашников воодушевился. Он встал и прислонился к столбу, поддерживающему крышу беседки.

— Ей-богу, друзья, хочется верить, что будет у нас большая живопись, действительно лучшая в мире.

— Иногда кажется, что время живописи вообще прошло, что живопись — уходящее искусство, — проговорил Панов. — Во всём мире живопись деградирует.

— Чепуха, не может этого быть! — ответил Ковалёв. — Живопись не уходит. Нужно поднять её на новую ступень, подняться выше классической эпохи. Я думаю, что будет ещё новый подъём. И это во многом зависит от нас.

— Во многом, но не во всём.



— Во многом! — упрямо повторил Ковалёв.

Уже начинался рассвет. Собственно, сумерки кончились, было светло, но солнце ещё не показалось. Птицы щебетали уже вовсю. Было очень свежо, и на землю выпала роса, но молодые люди не замечали холода и не хотели спать.

— Эй, спорщики! Вам ещё не надоело спорить? — раздался звонкий голос Тани Ковалёвой.

— Идите пить чай! — добавила Зина, жена Сабашникова. Молодые женщины стояли на террасе, облокотясь на перила. Зина была беленькая, а Таня чёрненькая, и вместе они составляли красивую пару. Возле самых перил росла молодая яблоня, и Зина пригибала к своему лицу её цветущие ветки.

— Чем тебе не картина? — кивнул на них Сабашников.

— А что ж, и это нужно тоже, — весело ответил Ковалёв, выходя из беседки. — От женщин и цветов мы никогда не откажемся.

— И от чая, — добавил Панов.

Через час должно было взойти солнце.

